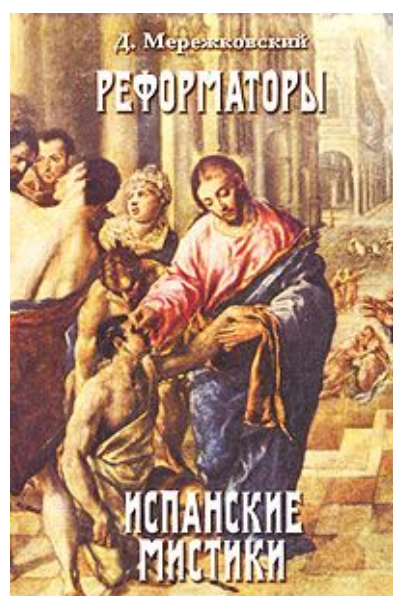




Дмитрий Сергеевич Мережковский
Св. Тереза Иисуса
Серия «Испанские мистики», книга 1

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175078

Аннотация

В книгах «Реформаторы: Лютер. Кальвин. Паскаль» (1939–1940) и «Испанские мистики: Св. Тереза Иисуса. Св. Иоанн Креста. Маленькая Тереза» (1940–1941) Д.С.Мережковский подводит итог своим размышлениям о судьбах христианства в мире, как всегда тесно связывая события прошлых столетий с современностью. В первой трилогии речь идет о реформаторах «внешних», во второй – о «внутренних», чей мистический опыт, по мысли Мережковского, призван преобразить три мировые ветви христианской Церкви в Церковь Вселенскую.

Содержание

1	4
2	5
3	6
4	8
5	9
6	12
7	13
8	16
9	17
10	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Дмитрий Сергеевич Мережков

Св. Тереза Иисуса

1

«Только бы люди немного больше поняли и прославили Господа, и пусть меня проклянет весь мир!» – говорила св. Тереза Иисуса. Кажется иногда, что хуже всякого проклятия для нее тот венец святости, которым люди ее увенчали. «Люди говорят, что Тереза – святая... Но, слыша такие глупости, – я в отчаянии... Нет, делайте святыми кого угодно, если вам это ничего не стоит, – только не меня». Если Господь оказывает мне большие милости, чем другим людям, то потому только, что я слабее и ничтожнее всех». «Я самое грешное и слабое из всех созданий, бывших когда-либо в мире». «Великая милость Божия уже и то, что я не в аду, как того заслужила». «В молодости мне говорили, что я хороша, и я этому верила, потом говорили, что я умна, – я и этому верила, а теперь говорят, что я – святая, но этому я уже не верю». «Я никуда не гожусь и не понимаю, почему люди хотят, чтобы я шла не общим путем; это мне тяжело, потому что мне иногда кажется, что я обманываю всех... Я хотела бы спрятаться в такое место, где никто не видел бы меня, но эта потребность уединения у меня не от доброго чувства, а от трусости». «Я нашла, наконец, счастье, которого так долго искала: оно заключается в том, чтобы люди забыли о Терезе так, как если бы ее никогда не существовало на свете». «Господи, подумай, что Ты делаешь! – молится она, при восхождении на вершину святости. – Не забывай так скоро великих грехов моих, не проливай столь драгоценной влаги в треснувший сосуд... Не вверяй такого сокровища такому слабому, несчастному и грешному созданию, такой презренной женщине, как я!»

Бог является ей в одном видении «алмазом бóльшим, чем весь мир, в несказанно чистом свете» «Видела я, какими страшными черными пятнами осквернили грехи мои этот Свет... и, после этого видения, не знала, куда мне деваться». «Если бы только люди знали, какова я на самом деле, то плюнули бы мне в лицо!» Это вовсе не христианское «смирение», или, по крайней мере, вовсе не то, чем кажется оно извне, а что-то совсем другое, – может быть, точнейшее познание того, что действительно есть во всяком человеке, грешном и святом одинаково, и что религиозный опыт христианства назовет первородным грехом. Святость, может быть, и есть не что иное, как глубочайшее, грешным людям неизвестное, чувство этого греха.

«Страшен Ты, Господи, для святых Твоих, потому что для Тебя одного святые они или грешны», – ужасается Лютер. Темный луч первородного греха, преломляясь, как в призме, в каждой человеческой личности, окрашивается в особый цвет – в личный грех. В чем же первородный личный грех св. Терезы? «Были для нее грехи ее гнусной трясиной, чей смрад непрестанно мучил ее», – говорит она о себе в третьем лице. Очень легко говорить о грехах своих вообще, но, может быть, мы лучше поняли бы св. Терезу, если бы она сказала нам о главном грехе своем, в частности. Слабость в ее писаниях – то, что она скрывает от самой себя и от людей свою трагедию – проблему Зла, вопрос св. Августина: «Что такое Зло? Quod sit malum?» – тайну первородного греха в мире и в ней самой. Вот почему ее «обращение» ко Христу нам непонятно: мы видим только, куда она входит, обращаясь ко Христу, а откуда вышла, почти не видим. «Бог хранит для нас великие искушения... в которых человек уже не знает, не есть ли Бог диавол, а диавол – Бог», – опять ужасается Лютер. Этого-то великого искушения св. Тереза не знает вовсе, а если и знает (когда в видениях Христа не до конца верит, что это Он, а не диавол), то этого не сознает и не говорит об этом вовсе.

2

Главное свидетельство о «грешной» жизни св. Терезы дано ею самою в «Книге жизни ее», «*Libro de su vida*», или под другим заглавием – «Моя душа», «*Mi alma*». Первый список «Жизни» был, вероятно, сожжен ею самой, когда один из духовников ее, прочтя книгу, нашел, что она «внушена ей дьяволом» и что сама она – «бесноватая». А список второй, по доносу в «Лютеровой ереси», отправлен был в суд Св. Инквизиции, где находился около двенадцати лет. «Книга жизни моей находится в Инквизиции, – говорит сама Тереза и могла бы сказать еще страшнее: – Моя душа – в Инквизиции». Это, впрочем, может быть, страшнее для нас, чем для нее, потому что Инквизиция кажется ей непреложным судом Божиим, или, по крайней мере, ей хотелось бы, чтобы она казалась ей таким судом. Но, вероятно, бывали минуты, когда и ей делалось так страшно перед этим судом, что она скрывала от него многое. Вот почему трудно узнать по этой книге действительную, святую и «грешную» жизнь св. Терезы.

То же почти, что сделал Данте для Италии, а Лютер – для Германии, сделает и св. Тереза для Испании: первая или одна из первых заговорит не на школьном, мертвом, латинском языке, а на живом, простонародном, старокастильском, *El habla vukgar*.

«Я пишу, как говорю, – так просто, как только могу... Больше всего я люблю в писаниях моих ясность, точность и простоту». Это говорит испанский гуманист, Жуан де Вальдес, современник св. Терезы, в своем «Диалоге о языке», «*Diálogo de la lengua*». «В книге этой („Жизни“) я говорю так просто и точно, как только могу, о том, что происходит в душе моей», – скажет и св. Тереза теми же почти словами, как Вальдес. «Я ничего не буду говорить, о чем не знала бы по моему собственному или чужому опыту». Это, впрочем, ей не всегда удается. Женское многословие – главная причина ее неудач, и это она сама сознает: «Я всегда страдала тем, что для выражения мыслей мне надо было очень много слов». «Я только умею болтать». «Я как эти птицы (попугаи или скворцы), которых люди учат говорить: не понимая слов, я их только повторяю». «Трудно говорить о самом внутреннем, а так как трудность эта соединяется у меня с глубоким невежеством, то я наговорю, конечно, много лишнего, прежде чем скажу то, что надо сказать. Часто, когда я беру перо в руки, у меня нет ни одной мысли в голове, и я сама не знаю, что скажу». «Но Бог делает, чтобы это хорошо было сказано. Если же иногда я говорю глупости, то этому не должно удивляться, потому что я от природы бездарна». «Я уже не помню, о чем я начала говорить, потому что заговорила совсем о другом, но не сомневаюсь, что этого хотел Господь. Я никогда не думала написать то, что написала». «Пусть же сам Господь водит моей рукой». «Духу Святому себя поручаю: пусть Он сам говорит моими устами». Эта молитва св. Терезы исполнилась: лучшее в ее писаниях – не то, что сама она говорит, а то, что говорит через нее Дух.

3

Город Авила в Старой Кастилии, «город рыцарей, город святых», как называли его, с восьмьюдесятью шестью зубчатыми, из красноватого камня, грозными башнями, похож на неприступную крепость. Черная, но кое-где почти всегда убеленная снегом, горная цепь Сиерра де Гредос высилась на самом краю окружавшей город, унылой, выжженной, серыми валунами усеянной равнины. Авила славилась обилием, вкусом и чистотою вод, таких прозрачных, что наполненное водою ведро или водоем казались пустыми. Также прозрачно было и темно-синее небо Старой Кастилии: глядя на него, не только чужеземцы, но и тамошние люди каждый раз удивлялись, что небо может быть таким синим.

Мрачны были узкие улочки и тесные площади города, обвеваемые ледяными ветрами с гор; мрачны дома и дворцы, но мрачнее всего церкви и монастыри. Память о более радостной жизни уцелела только в предместьи Мавров, запустевшем после их изгнания Св. Инквизицией: здесь все еще, в солнечно-тихих двориках с точеными из алебастра, золотисто-желтыми и прозрачными, витыми столбиками, журчали фонтаны в мраморных чашах, благоухали апельсиновые и лимонные цветы под кущами лавров и мирт.

Замок благородного гidalго Алонзе дэ Чепеда, где, 25 марта 1515 года, родилась Тереза, находился против доминиканской обители Санто-Ромазо, рядом с церковью Св. Схоластики.

Родовое имя Терезы шло, по испанскому обычаю, не от отца, а от матери, доньи Беатриче дэ Агумада, принадлежавшей к одному из древнейших и благороднейших Авильских родов. Имя «Агумада», «Закоптелые», или грубее, славнее, «Копченые», – произошло от одного из предков Терезиной матери, который прославился в войне с маврами: стоя в подожженной неприятелем башне городской стены, он защищал ее от множества мавров, пока весь не закоптел и не почернел от дыма так, что сделался и сам похож на мавра.

Главным признаком Старо-Кастильского рыцарства была «чистота», «ясность», «светлость крови», *la limpia sangre*, несмешанность с кровью евреев и мавров. Чистая вера только у тех, у кого чистая кровь, – вот почему Старо-Кастильские рыцари – в том числе и Агумады, «Закоптелые», – были доблестными защитниками святой католической веры против всякого нечестия и ереси, – больше всего Иллюминатства, и новой «гнусной ереси» Лютера и Кальвина.

Скоро начнет рыцарские подвиги свои «вдохновенный гidalго», дон Кихот Ламанчский, *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, и главным из них будет защита веры.

Было шесть сыновей и три дочери у доня Алонзо и доньи Беатриче. Третьей, после брата своего, Родриго, родилась Тереза. «Батюшка мой был очень жалостлив к бедным и больным, а к слугам так добр, что не хотел иметь в доме своем рабов: с девочкой же рабыней одного из братьев своих, жившей у него в доме, обращался не хуже, чем с родными детьми, потому что видеть ее несвободной было ему, как он сам признавался, „невыразимо-тяжело“, – вспоминает Тереза.

Три, в детстве ее, пророческих знамения с такой точностью совпадают с тем, что будет главным делом всей жизни ее, что это похоже на чудо. Вот первое из этих трех знамений. «Чтобы читать Жития Святых, *Flos Sanctorum*, часто уединялась она с одним из братьев своих, Родриго, которого любила больше всех, потому что он по возрасту был ей всех ближе (ей семь лет, а ему одиннадцать), – вспоминает первый и лучший из всех жизнеописателей св. Терезы, Франческо де Рибера. – Сердце ее пламенело от повествований о муках и смерти исповедников Христовых так, что вскоре и сама она пожелала умереть, как они, чтобы такого же венца удостоиться». Очень простым и легким казалось ей это: только что палач отрубит ей голову, выпорхнет душа ее из тела, как птица из клетки, и полетит прямо на небо, в рай.

«В муках умереть и быть в блаженстве вечно, вечно, вечно! Para siempre, siempre, siempre!» – повторяла она, и Родриго – за нею.

С этой целью она убедила его убежать «в землю Мавров». Взяв с собою немного съестных припасов, бежали они из отчего дома. Выйдя чуть свет из городских ворот у реки Ададжи, перешли через мост и продолжали путь по большой Саламанской дороге, пока не встретился им один из дядей их, ехавший на муле, и не принудил их вернуться домой, «к великой радости матери их, уже пославшей людей искать их повсюду, потому что она боялась, как бы не упали они в садовый колодец». Маленький Родриго был так испуган гневом родителей, что извинялся тем, что его увлекла сестра, а та ни в чем не извинялась и не каялась, только недоумевала, возмущалась, и если бы умела возразить, что чувствовала, то, может быть, спросила бы: все говорят, что мучеником быть хорошо; почему же никто этого не делает, и почему ее попытка сделать это кажется такой безумной и преступной? «Лучше сломаться, чем согнуться, *antes quebrar que doblar*», – это, может быть, она уже тогда впервые почувствовала и этому верна будет всю жизнь.

Знамение второе: «Видя, что нам невозможно умереть за Христа, мы с братом решили спастись, как древние отшельники спасались в пустыне, и для этого начали строить из камешков в нашем саду маленькие затворы и пустыньки. Но сложенные камни почти тотчас распадались, и строения жалко рушились». «Так всякая попытка исполнить наше желание (святой жизни) оставалась бессильной». «Время еще не пришло, когда суждено было ей, воздвигая великие и нерушимые обители, восстановить среди христианских народов святую жизнь древних пустынников», – замечает Рибера.

Между этими двумя путями святости – мученичеством и монашеством, действием и созерцанием, – воля ее будет колебаться всю жизнь.

Третье знамение: в комнате ее, над изголовьем постели, висела лубочная картинка, должно быть из тех, какие можно было купить за дешевую цену на ярмарках, изображавшая беседу Христа с Самарянкой, у колодца Иакова. «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не жаждать вовек!» «*Domine, da mihi hanc aquam*», – гласила надпись на картине. Может быть, глядя на Христа влюбленными глазами, все повторяла маленькая Терезина с неутолимой жаждою: «Дай мне, дай мне этой воды!» – и умирала, и не могла умереть от блаженства. Что это была за жажда, поймет она уже много лет спустя, когда, читая в молитвеннике слова из Песни Песней: «Да лобзает Он меня лобзанием уст своих, ибо ласки Его лучше вина!» – вся задрожит и с лицом, зардевшимся, как от первого поцелуя любви, подумает: «О, какая блаженная смерть в объятиях Возлюбленного!.. О, приди, приди, – я Тебя желаю, умираю и не могу умереть!» И еще яснее поймет, когда Христос в видении скажет ей: «С этого дня, ты будешь супругой Моей... Я отныне не только Творец твой, Бог, но и Супруг». Этим последним великим знамением, в детстве ее, предсказан ей главный религиозный опыт всей жизни ее – *Богосупружество*.

4

Против отчего дома Терезы находилась доминиканская обитель Санто-Томазо, где была могила Великого Инквизитора, Торквемады. «Прах о. Фомы Торквемады в этой могиле покоится. Ереси бежит, как чумы, *pestem fugit haereticam*», – гласила на могиле надпись. Слышала, вероятно, Тереза в детстве, рассказ об одном из последних страшных дел Торквемады, легенду о Св. Младенце. Выкрестов иудейских из города Окканьи близ Авилы обвинили, справедливо или несправедливо, в том, что они украли христианского мальчика, распяли его в ночь на Страстную Субботу, искололи ножами, выточили из жил его кровь, вынули из груди сердце, высушили его, истолкли в порошок и смешали с украденным из церкви и тоже истолченным хлебом Св. Причастия, чтобы «изготовить колдовство», от которого должно было умереть бесчисленное множество христиан и Церковь погибнуть, а Синагога восторжествовать. В 1491 году, за четверть века до рождения Терезы, судьи Св. Инквизиции судили в г. Авиле этих действительных или мнимых злодеев и восемь из них приговорили к сожжению на костре – «делу веры» – *acto de fé*. Шестеро покаялись, но двое, Юче Франко, двадцатилетний юноша, и отец его, восьмидесятилетний старик, остались до конца нераскаянными; страшную пытку – раскаленными докрасна железными щипцами рвали им ребра – вынесли они без стога, без жалобы и, сгорая на медленном огне, сохранили непоколебимое мужество до последнего вздоха.

«Тоже Агумады, Закоптелые!» – может быть, прошептал, услышав об этом, Родриго, и глаза его блеснули восхищением.

«Что ты говоришь?..» – начала Тереза, возмущившись, и не кончила, – почувствовала вдруг, что он, может быть, прав. Если бы до ее сознания могло прийти это чувство, то, может быть, она подумала бы: «До какого отчаяния надо было довести людей, чтобы они совершили такое злодейство!»

Торквемада был человеком «благочестивейшим», как будто святым, потому что в самом деле любил если не Христа, то неотступную и соблазнительную тень Его, которая казалась людям тогда, и потом будет казаться, Христом. Был Торквемада и человеком «милосерднейшим», потому что в самом деле верил, что временным огнем спасает погибающих от вечного огня.

Встреча Терезы, в детстве, с Торквемадой – тоже пророческое знамение. Но если те три первых – возвещают добро в жизни ее и святость, то это, четвертое, – возвещает зло и грех. Будут преследовать ее всю жизнь в красном свете костров две черные тени – Торквемады, Великого Инквизитора, и мнимого Христа, не узнанного ею Антихриста.

5

«Матушка моя была женщина редких достоинств, – вспоминает Тереза. – Но доброго я почти ничего не перенимала от нее, а то, что в ней не было добрым, мне очень вредило. Она любила читать рыцарские книги. Это было для нее только развлечением и отдыхом... но для меня и для братьев моих – чем-то большим... Кончить все наши дела торопились мы, чтобы предаться этому чтению, а так как отец наш смотрел на него с неудовольствием, считая книги эти дурными, то мы читали их потихоньку от него... Этот маленький грех матушки незаметно ослаблял добрые чувства мои... Прячась от отца, проводила я многие часы дня и ночи за чтением и так пристрастилась к нему, что мне нужны были все новые книги, чтобы страсть мою утолить». В эти дни начала она писать, вместе с братом своим, Родриго, рыцарский роман.

Было время, когда яснейший гидальго Алонзо де Агумада еще не видел никакого зла в рыцарских книгах. В мрачном сводчатом покое, с валявшейся в углу кучею ржавых рыцарских доспехов – броней, шлемов, щитов и мечей, – проводил он дни и ночи за чтением этих книг и едва не помешался от них так же, как Рыцарь Печального Образа, дон Кихот Ламанческий.

Дети верят в сказки, а взрослые, не только в Испании XVI века, но и всегда, везде, верят в рыцарские или им подобные книги, с тою разницей, что детям, чтобы верить в сказки, не надо сходить с ума, а взрослым надо.

Если бы друзья дон Алонзо прочли «Дон Кихота», то, может быть, увидели бы, что эти два рыцаря схожи почти во всем: был и этот, как тот, ростом высок и страшно худ, с таким же, как у того, простым и печальным лицом, с детски ясными голубыми глазами и ангельски доброй улыбкой; так и этот, подобно всем гидальго Старой Кастилии, казалось бы, и в нищенском рубище, <был> благороднейшим рыцарем «яснейшей крови». Оба едва не помешались от рыцарских книг, но, опомнившись, проклинали их и хотя дон Алонзо не сжег их, но сделал, может быть, лучше: велел их отнести на чердак, на съедение крысам. И умерли оба, как добрые христиане, почти как святые. «Я уже не дон Кихот Ламанческий, а гидальго Алонзо Квиджано Добрый», – скажет Дон Кихот, умирая. То же мог бы сказать, в смертный час, и гидальго Алонзо де Агумада, потому что, вплоть до имени, все у них было общее.

Может быть, в те дни, когда еще он сходил с ума от рыцарских книг, маленькая Терезина, любимая дочка его, робко, на цыпочках, входила в комнату его, и, положив ей руку на голову, он улыбался ей грустно и ласково, так, что ей казалось, что от этой руки входит в нее какая-то сила; она еще не знала, что это чудная и страшная сила Мечты. Когда же снова обращал он усталые и воспаленные от чтения глаза на недочитанную страницу, девочка все так же робко, на цыпочках, выходила из комнаты, как от только что уснувшего тяжелобольного уходят потихоньку, чтобы его не разбудить.

Как-то раз, может быть в поисках пропавших утюгов и гладильной доски или других домашних вещей, донья Беатриче поднялась на чердак и, увидев в самом дальнем и темном углу груды валявшихся пыльных книг, взяла одну из них и зачиталась ею так, что не слышала, как зазвонили к вечерне; когда же, наконец, услышала, то вздрогнула и потихоньку, крадучись, сошла вниз, в комнату свою, точно сделала какое-то недоброе дело. Но, на следующий день, опять пошла туда же, взяла начатую книгу и, спрятав ее под одежду, спустилась, боязливо оглядываясь, как воровка, в спальню свою, где почти всю ночь провела за чтением. Так же и в следующие дни ходила на чердак за книгами и перенесла их почти все, одну за другой, в комнату свою, где запирала на ключ в большой кованный сундук из-под приданого. Прятала ключ под подушку, а по ночам, вставая, читала до зари. Видела часто, как мавры едят гашиш и курят опиум: так же и она опьянялась рыцарскими книгами. Знала, что это

очень дурно, но как ни боролась и ни мучилась, не могла противиться соблазну медленно и сладостно отравляться мечтой и находить в ней все, чего не было у нее в жизни.

Однажды, войдя потихоньку в спальню, увидела она, что маленькая Терезина, стоя над открытым сундуком, читает книгу с таким жадным вниманием, что не слышала и не видела, как она вошла. Броситься хотела к ней мать, вырвать у нее книгу, спасти, – но этого не сделала, может быть, потому, что испугалась и устыдилась, не зная, что сказать, когда она спросит ее, почему, если книги эти так дурны, сама она читает их? Вышла из комнаты опять потихоньку, как воровка, или хуже того.

Вскоре тяжело заболела, а когда начала поправляться, заметила с ужасом, что ключ от сундука из-под подушки пропал, но никому ничего не сказала, может быть, все от того же страха и стыда, хотя и несказанно мучилась, что Терезина ест гашиш и курит опиум, сладостно и медленно отравляясь Мечтой.

Донья Беатриче вышла замуж за дона Алонзо, когда ей было лет пятнадцать, а ему за сорок. Он был вдовец с тремя детьми от первого брака, а от второго – родилось у него еще девять. Роды за родами следовали так быстро, что донья Беатриче была почти всегда больна, и ей казалось, что она всегда рождает и будет рождать. Та же судьба постигла ее, как стольких женщин: брак – убийство.

Девушки в Испании, выходя замуж, сохраняли девичье имя. Вещим оказался этот обычай для супруги дона Алонзо: замужем продолжала она быть девушкой, родившей девять человек детей. В молодости была красавицей, но годам к тридцати уже почти не оставалось следов от ее красоты, и в темных вдовьих одеждах, которые начала носить уже лет с двадцати, казалась она почти старой женщиной. Судя по всему этому, трещина давно уже зияла в супружеском счастье дона Алонзо и доньи Беатриче. Точно такие же трещины зияют почти во всяком супружеском счастье, но одни не дают им расти, а другие дают, пока не зазияет трещина так, что в нее проваливается все, как в бездну. Кажется, нечто подобное произошло и с доном Алонзо и доньей Беатриче.

Слишком хорошо знает Тереза, что «Жизнь» ее, «Душу» будут читать чужие, холодные и, может быть, злые люди, судьи Св. Инквизиции: вот почему говорит она об этой детской, как будто маленькой, а на самом деле великой для нее трагедии с матерью слишком осторожно, бледно и плоско; но чем осторожнее, тем легче догадаться о ней.

В тридцать три года тихо угасла донья Беатриче, как лампада без масла, так и не сказала никому до конца о пропавшем ключе, и дон Алонзо, видя, что она умирает с каким-то камнем на сердце, не посмел ее об этом спросить. Видела это, может быть, и Терезина, – ей было тогда четырнадцать лет, – и тоже спросить не посмела.

После смерти жены дон Алонзо еще сильнее и мучительнее полюбил Терезину, и она – его. Часто и подолгу он беседовал с нею.

Однажды, войдя к нему в комнату и застав его за чтением недавно вышедшей книги «Великая победа за морем», «Gran Conquista de Ultramar», – книга эта была теперь его любимым чтением, – и она спросила его, почему он больше не читает рыцарских книг?

«Это очень дурные книги, – ответил он и, положив ей руку на голову, сказал: – Никогда не читай их и ты, Терезина, – обещаешь?»

«А как же матушка?..» – едва не спросила она, но вдруг чего-то испугалась и молча, бросившись к нему на шею, вся прижалась к нему: может быть, вдруг поняла, что сделала с матерью, и что сделала с нею мать.

«В тех дурных и глупых книгах говорится о том, чего никогда не бывает и не может быть, а в этой – о том, что было и может быть всегда», – если бы так начал ей говорить дон Алонзо, то она уже его не слушала бы и думала бы о своем: что лучше – то ли, что было однажды и может быть всегда, или то, чего никогда еще не было, но, может быть, будет когда-

нибудь? И между тем как вглядывалась она в безнадежно грустные глаза его и в еще более грустную улыбку, ей начинало казаться, что и он не знает, что лучше.

6

Между донкихотством и донжуанством существует не только в Испании XVI века, но и везде, всегда, нерасторжимая связь. Что в войне Дон-Кихот, то в любви Дон-Жуан. Меч свой подымает Рыцарь Печального Образа на исполина – ветряную мельницу – с такой же святой и безумной отвагой, с какой Дон-Жуан протягивает руку свою Каменному Гостю, и гибель обоих одинаково страшна и блаженна, потому что оба знают, что прекраснее всего, что есть и может быть, то, чего никогда еще не было, но будет когда-нибудь.

Донкихотство и донжуанство – две створы той двери, через которую и св. Тереза входит в жизнь.

Только что «глаза ее открылись на прелести Божьего мира, и люди заговорили, что и для нее был щедр Господь на эти прелести», – как донкихотство кончилось для нее, и началось донжуанство, или, вернее, донжуанство и донкихотство слились в одно – в безумную преданность невозможной Мечте в «Небесное Рыцарство», *Caballeria Celestial*, – смешение внутренней действительности с внешнею; того, что кажется, – с тем, что есть. Маленькая Терезина с душой Дон-Кихота безумного тоже немного сходит с ума, воображая себя одной из тех «Прекрасных Дам», для которых влюбленные в них рыцари, Амадисы и Пальмерины, совершают бессмертные подвиги.

«Я полюбила наряжаться, потому что хотела нравиться, – вспоминает Тереза. – Я очень заботилась о белизне рук моих и о прическе; не щадила также духов и всяких суетных женских украшений, на которые была большой мастерицей». «Я умела говорить с моими двоюродными братьями о том, что их занимало, выслушивать их ребяческие признания в любовных делишках... Вскоре подверглась я дурному влиянию одной, часто наш дом посещавшей, родственницы. Матушка моя, видя ее легкомыслие и угадывая зло, какое могла она мне причинить, старалась выжить ее из дому, но напрасно, – столько было у нее предлогов для посещений (кажется, потому, что она была слишком близкой родственницей). Общество ее было мне очень приятно... потому что она помогала мне находить развлечения, которые мне нравились». Кажется, эта разбитная, повадливая и пронырливая дамочка была одной из тех невольных и невинных сводней, какими часто бывают стареющие легкомысленные женщины. «Помнится, мне было лет четырнадцать, когда установилась наша дружеская с нею связь... Также и служанки в доме, ослепленные корыстью, помогали мне делать зло... Никакого, впрочем, смертного греха, который бы меня удалил от Бога, я не нахожу в эти юные годы жизни моей, потому что страх Божий спасал меня от него, и еще больший страх нарушить законы чести». Слово «honra» употребляет она, что значит – «внешняя, условная честь», а не слово «honor» – «внутренняя честь, безусловная». «Но этот вечный страх за честь делал всю жизнь мою непрерывною мукою. Во многом, впрочем, если только я надеялась, что оно останется тайным, я не боялась идти и против законов чести». Если чести не потерять, значит, для девушки не быть соблазненной, не пасть, то под всеми этими глухими намеками угадывается довольно ясно какой-то любовный роман или с одним из двоюродных братьев ее, чьи «ребяческие признания» в любви, может быть, не только к другим, но и к ней самой, она так хорошо умела выслушивать, или с неизвестным маленьким Дон-Жуаном, с которым свела ее та легкомысленная родственница, невинная сводня. А если так, то, может быть, и будущая св. Тереза так же, как вся Испания, вся Европа XVI века, окажется между двух огней – между донкихотством и донжуанством, рыцарством любви небесной и рыцарством любви земной.

7

Только что начала она узнавать, что такое любовь, как узнала и что такое смерть: мать ее скончалась. «Слишком хорошо я чувствовала все, что потеряла с нею». В этом первом великом горе своем не ищет она утешения у близких – отца, сестер, братьев; знает, что люди ей не помогут, и бежит от них к Богу. «Я пошла в церковь и, пав перед изваянием Божьей Матери, со многими слезами молила Ее, чтобы Она заменила мне мать. И молитва моя была услышана: с этого дня я никогда не обращалась к Божьей матери без того, чтобы не почувствовать тотчас же Ее осязаемой помощи».

Но это было только мгновение; оно прошло, и снова начались мирские соблазны; продолжался, может быть, и тот, уже начатый, любовный роман. «Я, впрочем, не чувствовала никакого соблазна потерять честь мою... я искала только развлечения в невинных беседах. Но и это могло быть опасным для чести отца моего и братьев.

Бог один спас меня, в те дни, от гибели... Но все это не могло быть скрытым так, чтобы не встревожить, наконец, отца моего. Вот почему он отдал меня в монастырскую школу, и дело это совершилось в величайшей тайне... Крайняя нежность ко мне отца и то, что я умела скрывать от него чувства мои, делали меня в глазах его менее виновной, и он сохранил ко мне всю прежнюю любовь».

Школа эта находилась в Августинской женской обители, в г. Авиле. «Я чувствовала, в те дни, смертельное отвращение к монашеству... но страдала не столько от этого, сколько от страха, чтобы не узнали, как я себя дурно вела... Может быть, только одно меня отчасти извиняло... то, что эта привязанность моя могла кончиться браком». Слово наконец сказано: «брак». «Двое да будут плоть едина» – эта заповедь Божия делается для нее «соблазнами диавола». Кажется, в этой любовной трагедии юных дней Терезы – исходная точка всей духовной жизни ее: умерщвляемый, но неумертвимый пол.

«Помню, если я, в эти дни, видела, что одна из монахинь делает что-нибудь доброе, или на молитве плакала, я мучительно завидовала ей, потому что сердце мое было так ожесточено, что все евангельское повествование о Страстях Господних я читала без единой слезинки, так что бесчувственность эта приводила меня самое в отчаяние». «Спрашивала я совета у духовника моего и у других умных людей, но все мне отвечали, что я не делаю ничего противного воле Божьей». «Я просила также всех монахинь молиться, чтобы Господь, наконец, яснее открыл мне истинное призвание мое, но втайне желала, чтобы не было оно монашеством, а между тем и мысль о замужестве внушала мне страх».

В некоторых вестях, доходивших до нее из мира, «не без помощи диавола», – должно быть, любовных письмах, – старались ее соблазнить надеждой на «почетный брак», но не соблазнили, потому что мысль о браке внушала ей такой же, если не больший, страх, чем мысль о монашестве. Замуж не хочется ей так же неодолимо-естественно, как птице – летать, или рыбе – плавать: хочется любви, но не брака.

Кажется, в эти дни, воля ее снова колеблется между все теми же двумя полюсами – рыцарством небесной и рыцарством земной любви. Кто будет супругом ее – человек или Бог? Этот вопрос, может быть, уже тогда пронизал ей сердце «огнем и копьем», и здесь уже начало того, что будет главным опытом всей жизни ее, – «Прошения, Transverberatio».

В женской обители, где находилась Тереза, была монахиня, донья Мария де Бриченко, из древнего и знатного Авильского рода, приставленная к спальне школьниц. «Через нее-то Господь и пожелал начать мое обращение... Мудрые и святые беседы ее начали мне нравиться... Снова возродила она во мне жажду вечности так, что мало-помалу начало уменьшаться мое отвращение к монашеству».

«В эти же дни Господь, чтобы приготовить меня к пути своему, послал мне тяжелую болезнь, которая принудила меня вернуться домой». Только что ей стало полегче, решили ее перевезти к сестре св. Марии де Чепеда, жившей за городом, а по дороге туда заехала она к дяде своему Пэдро д'Ортигоза, глубокому старику, после смерти жены своей ушедшему от мира, чтобы подготовиться к монашеству. «Я провела у него немного дней, но святые беседы его оставили в душе моей неизгладимый след. Истины, открывшиеся мне в детстве, снова ожили во мне. Видела я ничтожество всего и быстроту, с какою все проходит, и ужас охватывал меня при мысли, что если бы я умерла внезапно, то не избегла бы ада. Видела я также, что единственный для меня и верный путь спасения – монашество... Но, кажется, рабский страх гнал меня на этот путь больше, чем любовь... Я прочла письма св. Иеронима о монашеству и так непоколебимо решила уйти из мира, что сказала об этом отцу, и тем одним, что это сделала, я как бы уже постриглась, потому что я была так ревнива к чести слова моего, что раз я его дала – уже никакие силы в мире не могли бы меня заставить ему изменить. Но отец, сколько я ни убеждала его, не соглашался на мое пострижение. Я просила других убедить его, но и они не могли этого сделать, и все, чего они достигли, было только согласие отца, чтобы, после смерти его, я сделала все, что хочу. Но так как, слишком хорошо зная слабость мою, я себе не доверяла, то не захотела ждать... я убедила одного из братьев моих постричься (в Братство св. Доминика, в обители Сан-Томазо, в г. Авиле), и мы условились, что рано поутру, в назначенный день, он отведет меня в обитель (Зачатия или Благовещения) Incarnation, где была одна подруга моя, которую я очень любила». Так же, как семилетнею девочкой, бежала она с братом Родриго в землю мавров, для донкихотского подвига, бежит она и теперь, двадцатилетнею девушкой, может быть, для такого же подвига.

«Всею душою хотела я спастись и больше ни о чем не думала... Но когда выходила из отчего дома, мне было так тяжело, что, кажется, и в смертный час тяжелее не будет. Точно все кости ломались в теле моем... потому что не было у меня такой любви к Богу, чтобы победить мою любовь к отцу и прочим близким моим», а может быть, и к жениху: если так, то, в эту минуту, земной жених был ей дороже Небесного. «Я делала над собой бесконечное насилие... но знал о том один только Бог, потому что снаружи я казалась невозмутимо спокойной и мужественной».

После года монастырской жизни она опять заболела так, что эта вторая болезнь была тяжелее первой. Но, кажется, главная причина болезни была не в теле, как думает сама Тереза, а в душе, – в том «бесконечном над собой насилии», которое сделала она, уходя из дома, и продолжала делать в монастыре. Взяв ее оттуда, отец отвез ее в соседний городок Бечедас, где были знаменитые врачи, искусные будто бы в лечении таких болезней. Но они едва не залечили ее до смерти. Спас только отец, который, вырвав ее из рук их, перевез опять домой.

Дня четыре пролежала она без памяти, так что ее уже причастили и читали над ней отходную, а когда приходила она ненадолго в себя, то чувствовала на веках своих капли воска, падавшие со свечей, которые подносили к лицу ее, чтобы увидеть, не умерла ли она. Вырытая для нее могила на монастырском кладбище ожидала ее в течение полутора суток, и монахини уже служили по ней заупокойные обедни. Многие, думая, что она умерла, хотели положить ее в гроб. Но снова спас отец, не дав похоронить ее заживо: ухо прикладывая к сердцу ее, он один слышал, как оно все еще бьется.

Только на пятый день очнулась она, и когда заговорила, то первые слова ее были жалобой, что «ее вернули к жизни оттуда, куда она уже уходила и где ей было так хорошо».

Только что ей стало легче, пожелала она вернуться в обитель, и ее перенесли туда на руках. «Приняли здесь живую, ту, которую ожидали мертвой, но у этого живого тела вид был такой, что и мертвое казалось бы менее жалким».

Очень медленно шло выздоровление; около трех лет чувствовала она себя такою слабою, что могла только ползать на руках.

8

Трудно понять по слишком неточным иногда воспоминаниям Терезы (сколько ей было лет, когда мать ее умерла, она не помнит: думает, двенадцать, и ошибается; не помнит и в каком году постриглась), трудно понять, во время ли первой болезни, или второй, сблизилась она с духовником своим, ученым и умным доминиканцем, молодым человеком из богатого и знатного рода, о. Винченцио Бароне. «Часто и подолгу мы беседовали с ним наедине... и, побуждаемый доверием, которое я внушала ему, он открыл мне душу свою и признался, что в течение семи лет находился в прелюбодейной связи с одной женщиной... В городе об этом знали все, но никто не смел его обличить». Женщина эта, желая его соблазнить, повесила ему на шею, должно быть с колдовским заклинанием, «маленького идола», – может быть, вырытое из земли изваяние древнего бога или богини любви, Афродиты или Эроса, – и только что она это сделала, как его обуяла к ней лютая страсть.

«Жалость к нему пробудило во мне это признание, потому что он так полюбил меня, что и мне был дорог, – вспоминает Тереза. – Большею частью я говорила с ним о Боге, и слова мои были ему полезны, но, кажется, сильнее слов была его любовь ко мне... Чтобы сделать мне удовольствие, отдал он мне изваяние, и я кинула его в реку. Только что он снял его с шеи, так точно пробудился от глубокого сна, – увидел свой грех... ужаснулся и порвал навсегда роковую цепь... Не было в чувстве его ко мне ничего порочного, но, кажется, все же могла бы и совершеннее быть чистота этого чувства, так что, если бы не присутствовала в нас постоянная мысль о Боге, мы были бы в большой опасности... Я, впрочем, не сомневалась, что горячие молитвы мои спасли его от вечной гибели и что небо открыл пожелал ему Господь через меня». Чтобы спасти его, кинула она ему любовь свою, как упавшему в колодезь кидают веревку, чтобы он мог по ней вылезти.

Этот маленький, полусвятой, полугрешный роман юной монахини с духовником ее кидает глубокий и неожиданный свет на всю утаенную жизнь св. Терезы, подтверждая возможную догадку об ее любовной трагедии с тем неизвестным, от которого еще в монастырской школе получила она любовные письма, «не без помощи дьявола».

9

Трудно также понять по воспоминаниям Терезы, когда и как началось у нее последнее искушение, длившееся те двадцать лет, в которые была она, или ей казалось, что была, на волосок от гибели.

Женская обитель Благовещения, Encarnación, где она провела эти двадцать лет, находилась в прекрасной долине к северу от гор Авилы. В очень большом саду, окружавшем обитель, стены вековых кипарисов и лавров кидали, и в полдень, черную, как уголь, почти ночную тень, и веяло от них зловещим благоуханием, точно погребальным ладаном. Скрытыми подземными водами питались глубокие мхи с родниками, холодными, как только что растаявший снег, и беззвучными, точно немевшими от грусти, как и все в этом очарованном саду. Кое-где из щели скал медленно сочились и падали светлые капли, но глубокие мхи заглушали их падение, и капли были безмолвны, как слезы немой любви. Тут же, над лугами дико растущих нарциссов, маргариток и лилий, порхало множество бабочек, но не пестрых, а черных. И луч бледного солнца, с трудом проходя сквозь лавровую и кипарисовую чащу, делался бледным, почти лунным, как будто проникал сквозь черную ткань или дым похоронных факелов.

Инокини Благовещения, большей частью молодые девушки из богатых и знатных семейств, жили в свое удовольствие: наряжались, как придворные дамы; «носили золотые ожерелья, запястья, серьги и кольца, забывая, что умерли для мира, что монастырь есть могила и что драгоценности не пристали покойникам», вспоминает очевидец. Кельи были обширные и светлые, с особой для каждой монахини часовней. Гости, приходившие к ним в роскошные и уютные приемные, locutarios, беседовали с ними хотя и сквозь решетку, но свободно и весело, как в великосветских гостиных, и делали им подарки – драгоценные благовония, пряности, невиданные плоды, привозимые из новооткрытой Западной Индии; передавались и любовные записочки. А в лунные летние ночи молодые кабаллеро в широких черных плащах и черных полумасках играли на гитарах и пели серенады под окнами келий.

«Я бы посоветовала родителям, мало думающим о вечном спасении дочерей своих и отдающим их в монастыри, где все эти мирские соблазны терпят, подумать, по крайней мере, о семейной чести своей и выдавать их лучше замуж... потому что их дурное поведение в миру открыто, а в монастырях тайно, – скажет Тереза, вспоминая эти годы жизни своей. – Бедные девушки! Молодость, чувственность и прочие соблазны дьявола увлекают их в совершенно мирскую жизнь». То же происходит и с ней самой: «Так, от рассеяния к рассеянию, от суеты к суете, от греха ко греху, я дошла наконец до того, что мне было стыдно обращаться к Богу с молитвой: я чувствовала себя такой недостойной, что под предлогом смирения боялась молиться». «Около двадцати лет прожила она в великой сухости и никогда не желала ничего большего, потому что была так убеждена в низости своей, что считала себя недостойной возноситься душою к Богу», – вспоминает о себе Тереза в третьем лице. «Впрочем, снаружи поведение мое казалось безгрешным: я никогда не шепталась с гостями потихоньку сквозь щели монастырской ограды, или поверх ее, или в ночной темноте... потому что подвергать опасности честь обители мне казалось преступным. Но все-таки чрезмерная свобода, которой пользовались монахини, при слабости моей, могла бы довести меня до ада... если бы сам Господь меня от этого не спас». «Совесь обличала меня, а духовники оправдывали: так, один из них, когда я призналась ему в моих угрызениях, сказал мне, что если бы я достигла и высшей степени созерцания, то беседы мои (с приходившими в обитель гостями) не могли бы мне повредить... Бедная душа моя! Когда я вспоминаю, как она лишена была всякой помощи, свободно предаваясь развлечениям и удовольствиям, которые считались дозволенными, – я не могу себя не пожалеть».

«Был у меня тогда большой недостаток: если я чувствовала, что кто-нибудь ко мне привязан, и если этот человек мне нравился, то я и сама к нему привязывалась так, что не могла уже ни о ком думать, кроме него». «Если мы любим, то нам естественно желать, чтобы и нас любили. Но когда нам платят этой монетой, то мы замечаем, что она лишь уносимая ветром соломинка; скоро утомляться любовью нам, увы, так же естественно». Судя по этим глухим намекам, бывший любовный роман ее все еще продолжается, или начался новый с одним из тех «искателей любовных приключений», *ventureros*, что бродили у стен святых обителей, как волки у стен овчарен. Если бы Дон-Жуан де Тенорию знал Терезу в те дни, то, может быть, сделал бы все, чтобы ее соблазнить, или, как в легенде о двойнике его, Дон Мигуэле Манара, покаялся бы и ушел в монастырь, потому что не было для него в мире более пленительной женщины, чем донья Тереза де Агумада.

Ростом она была высока и стройна, как одинокий на вершине холма кипарис; царственно величавы были все ее движения; волосы, темно-коричневые с рыжеватым отливом, очень густы; цвет лица напоминал золотистую бледность Гостии на дне золотой Дароносицы; тихая улыбка тонких губ, с черною тенью усиков на верхней губе, была так обаятельна, что раз ее увидевший никогда уже не мог забыть; в темных глазах была бесконечная ясность; только иногда взор их становился вдруг почти невыносимо тяжелым, как у больных падуцей или близких к ней, но это лишь на миг; взор опять яснил такою детскою ангельскою ясностью, что людям становилось от него легко на сердце и радостно. Главная же прелесть ее была в том, что мужественная сила сочеталась в ней с женственной нежностью, и все существо ее было насыщено тем, что люди наших дней называют грубо, но точно «зовом пола». По тому, как первый жизнеописатель ее, старый монах, о. Франческо де Рибера, описывает красоту ее, неумело, но тщательно, не забывая «трех маленьких родинок на левой щеке, придававших лицу ее особую прелесть», видно, что и он слышал этот зов.

Силу очарования своего хорошо знала и сама Тереза: «Чувствовала я всегда, как великую милость Божию, то, что всюду, где бы я ни была, мой вид был всем приятен». «В молодости мне говорили, что я хороша, и я этому верила».

«О, какая маленькая ножка!» – восхитился однажды кто-то из придворных ножкой Терезы.

«Смотрите же на нее хорошенько, кабаллеро, – вы больше ее никогда не увидите!» – ответила она, не краснея, и, с этого дня, шелковая туфелька на маленькой ножке ее заменилась грубым сельским лаптем.

Было ей уже лет за сорок, когда усердный, но неискусный живописец, кармелитский монах, Жуан де ла Мизерия, начал писать с нее портрет, а когда кончил, то, взглянув на него, она воскликнула горестно: «Да простит вам Бог, брат Жуан, что вы сделали меня таким уродом!» Значит, любила свою красоту и в сорок лет, так же как в детстве, «хотела нравиться людям».

Неудивительно, что все «искатели любовных приключений» слетались на нее как мухи на мед.

«Мало-помалу я начала увлекаться беседами с посещавшими обитель мирскими людьми... потому что зла никакого не видела я в этих беседах... Но, однажды, во время одной из них с новым посетителем... явился не плотским, а духовным очам моим Христос с таким строгим лицом, что ужас охватил меня, и я не хотела больше видеть того человека... Но диавол внушил мне... что мое видение было мнимое... К тому же многие настаивали, чтобы я не отказывала в свиданиях такому почетному гостю, и уверяли меня, что это не только не может повредить чести моей, а напротив, послужит ей на пользу, так что свидания эти возобновились, и другие – тоже. Все они отравляли душу мою в течение многих лет, но ни одно из них – так, как с тем человеком, потому что я была к нему очень привязана... Но как-то раз, во время беседы с ним, я увидела, – и не только я, – увидели это и другие, бывшие

там, – что к нам подползает подобное огромной жабе, но быстрее, чем жаба, двигавшееся чудовище. Я не могла понять, откуда взялось, среди бела дня, такое невиданное животное, и не могла не почувствовать в этом таинственного предостережения».

Если главный грех ее, как думает она, есть «нечистая к твари любовь», то эта «предостерегающая» жаба – воплощение этого греха.

10

В 1538 году пришло известие о смерти на другом конце света, в Парагвае, любимого брата ее, Родриго, того самого, с которым в детстве мечтала она умереть за Христа в земле Мавров. А в 1544 году – ей было двадцать девять лет – тяжело заболел ее отец. «Я ухаживала за ним, но суэта мирская так удалила меня от Бога в те дни, что я была больше душой, чем он телом», – вспоминает Тереза. Три дня пролежал он в беспамятстве, но потом, придя в сознание... сохранил его до конца.

«Помните, дети мои, что все проходит», – говорил он, умирая. Эти простые и как будто обыкновенные слова будут иметь для Терезы, всю ее жизнь, необычайный и все решающий смысл.

«Отошел он так тихо, что этого никто не заметил, и лежал в гробу, как спящий ангел».

В 1546 году убит был в сражении под Иньяквито брат ее Антонио, тот самый, которого убедила она постричься и с которым бежала из отчего дома.

Эти три смерти – три для нее пробуждения от жизни, как от глубокого сна. «Жизнь для меня сновидение, в котором движутся призраки. Я знаю, что сплю и что, когда проснусь, все будет ничто, *segá todo nada*». Может быть, и теперь повторяла она, как в детстве, читая Жития Святых: «Рай или ад будет вечно, вечно, вечно!»

«В эти дни кто-то дал мне прочесть „Исповедь“ св. Августина. Я очень люблю его, потому что и он был таким же грешником, как я». – «Исповедь» открыла ей глаза на то, что происходило в ней самой: «Это моя же собственная жизнь, думала я, и, когда читала то место, где Августин вспоминает слова, услышанные им в саду: „Tolle, lege! tolle, lege!“ („Возьми, читай! Возьми, читай!“), мне казалось, что Господь говорит их мне самой... И долго я плакала, изнемогая от раскаяния».

Тот самый духовник ее, Винченцио Бароне, которого Бог спас через нее от вечной гибели, освободив от любовных чар, заключенных в медном изваяньице, убедил ее вернуться к молитве. «Я вернулась к ней... но, при свете молитвы, еще яснее увидела грехи мои». Может быть, они не так велики, как это ей кажется, и она сама это знает, но от этого ей не легче, потому что и в малейшем грехе – та же природа зла, как в величайшем, и потому что вечное спасение или гибель зависит не от количества, а от качества зла. «В свете божественного Солнца душа видит в себе не только паутину больших грехов, но и пылинки малейших. Как бы ни стремилась она к совершенству, – только Солнце это озарит ее, как видит она, сколько в ней еще темного: так вода в хрустальном сосуде кажется вдали от солнца прозрачной, но только что солнечный луч осветит ее, видно, какое в ней бесчисленное множество пылинок».

Надо сделать выбор между миром и Богом, – это знает она, но знает и то, что выбора сделать не может. «Бог звал меня к Себе, но и мир тоже... и я хотела соединить две эти столь несоединимые крайности. Так проходили годы, и я теперь удивляюсь, что могла так долго жить, не отдаваясь до конца ни тому ни другому». «Я не находила счастья ни в Боге, ни в мире: горечью наполняло душу мою воспоминание о Боге, когда я была в мире, а когда была в Боге, то соблазны мира искушали меня. Это было такое борение, что я не понимаю, как я могла его вынести, не говорю столько лет, а хотя бы один только месяц». «Двадцать лет я падала и подымалась, и снова падала».

«В те дни, когда она еще не вся принадлежала Богу, милости Его казались ей величайшим за грехи ее наказанием, – вспоминает Рибера. – Мысль, что она неблагодарна Богу за такую любовь Его к ней, терзала ее и приводила в отчаяние».

Только чудо спасло ее, – это для нее так же несомненно, как для тонувшего и спасшегося несомненно то, что чья-то сильная рука схватила его, подняла из глубины и вытащила на берег.

Как-то раз, в 1555 году, – ей было тогда сорок лет, – войдя в одну из монастырских часовен, увидела она, должно быть и раньше много раз виденное, но теперь почему-то вдруг ее поразившее так, как еще никогда, изваяние бичуемого Христа, с обнаженным, израненным и окровавленным Телом. «Муки Христа за людей это изваяние изображало так живо, что я была потрясена до глубины души... и, вспомнив, какой неблагодарностью я заплатила Ему за такую любовь ко мне, я почувствовала вдруг, что сердце мое растерзано, и, упав перед Ним на колени, я заплакала и молила Его укрепить меня так, чтобы уже не мучила Его... И я уверена, что Он услышал молитву мою». Что чувствовала она в ту минуту, может быть, она сама еще не понимала как следует, и поняла только много лет спустя, когда в другом видении Христа слышала из уст Его:

«Разве Я не Бог твой и разве ты не видишь, что со Мною делают люди? Если ты любишь Меня, то почему не жалеешь?»

И еще яснее поняла, когда молилась, как бы кощунствуя и восставая на Отца за Сына:

«Как мог Ты согласиться, Отец, чтобы Сын Твой каждый день отдавал себя на растерзание людям?.. О, зачем Он всегда молчит? Зачем никогда не говорит за Себя, а всегда – только за нас? Неужели никогда никого не найдет, чтобы защитить этого Агнца?»

«Господи, или страдать, или умереть, – я больше ни о чем Тебя не прошу! *Morir o pascader!*» Это значит: «Или со Христом страдать, или умереть за Христа».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.